ры, он предложил новую систему понятий и определил литературу "дореалистического" периода как "морально-риторическую систему", где в связь приведено "знание, мораль, речь, образ человека". XIX век с его естественностью и непосредственностью выпестовал иной тип слова — это слово, "прилегающее" к самой действительности. Концепция работы, изложенная фрагментарно в ряде статей ученого, ждет опубликования в полном виде. И еще предстоит создать труд "Идеи мировой культуры в философском наследии А.В.Михайлова".

Всякая жизнь обретает свою завершенность в жертве. Жизнь Александра Викторовича Михайлова — жертвенное служение науке, и эта жертвенность открыла перед ним вечность, доступную нашему созерцанию в той мере, в какой вторая жизнь встает из его научных трудов.

Т.А.КАСАТКИНА

"Не пропустите человека, не приветив его, и доброе слово ему молвите"

("Поучение..." Владимира Мономаха)

Александр Викторович Михайлов... Та большая слава, которая ждет его после смерти,— а это как-то всем стало окончательно очевидно,— непременно сделает его облик несколько монументальным — каменным и самодовольным. Это уже чуть-чуть начало происходить. А он не был ни тем, ни другим. Он был полной противоположностью и тому и другому. В бьющемся ужасе от этого возможного окаменения я и пишу свои "штрихи к портрету".

Его сын Антон удивительно рассказывал на поминках, как любил ходить Александр Викторович, когда отдыхал в Киеве. То есть именно ка́к он любил ходить. А делал он это следующим образом. Избиралось место, куда хочешь пойти. Далеко, за много километров. Затем к нему нужно было идти непременно "самым коротким путем" — то есть без дороги, через лес. При этом, конечно, можно было самым основательным образом заблудиться и выйти совсем не туда, куда шел. Но еще лучше было выйти не "не туда", а в совсем незнакомое место, то есть когда не знаешь, "туда" или "не туда". И тогда нужно было найти "более высокую точку", за-

браться туда и все наконец увидеть. И точно узнать, где ты сейчас, и как ты шел до сих пор, и где место, куда тебе надо прийти, и какими путями до него можно добраться.

Это описание того, как ходил Александр Викторович, есть на самом деле точнейшее описание того, как он работал. Люди редко любят ходить без дороги, "самым коротким путем", это так часто удлиняет путь бесконечно. Но те, кто идут так, называются "первопроходцы". Им, в отличие от других людей, нестерпимо идти, если они знают не только о том, что в конце, но и о том, что их ждет в середине пути. Он любил *не знать*. Я ему как-то сказала по поводу одной работы, которую должны были обсуждать в нашем Отделе: "Я бы умерла, если бы писала в состоянии такой душевной и умственной непроясненности". Он ответил со своей незабываемой улыбкой-усмешкой, в которой и удивление, и мгновенное понимание, и его чу́дная — из глубины существа — ирония: "Таня, а ведь *я* всегда так пишу..." Он любил "заблудиться", потому что это давало ему возможность *пережить* проблему. Он вообще не "понимал" идеи, он их чувствовал, он ими болел, он с ними сражался, он их мог в какой-то миг возненавидеть — так, как он мог в какой-то миг и на какой-то миг возненавидеть и человека, они преследовали его как ночной кошмар. Все более или менее регулярно его слышавшие и читавшие за последние годы знают, что кризис "науки о литературе" (он был так чуток к жизни слова, что даже слово "литературоведение" ему иногда больно было произносить; когда я, зеленой еще аспиранткой, процитировала в своей работе одного видного литературоведа, вовсю пользовавшегося модными терминами, он с горечью повторял, указывая на какой-то из них: "Человека, который способен такое написать, вообще нельзя цитировать". Он был обижен за мой "слух", который позволил же мне, хоть и в цитате, употребить такое слово), так вот, кризис "науки о литературе" он пережил как тяжелую болезнь близкого человека, он кидался ко всем, пытаясь объяснить, как болит, и на мудрые замечания самых понимающих, что кризис есть кризис, это ничего; еще, может, это "болезнь не к смерти...", он — понимавший все говорящееся лучше самих говоривших — мог только ответить, что да, но ведь как больно-то. Это у него болело...

Он всегда, в глубине души, был недостаточно "научен" — как не может быть "научен" биолог, переживающий эмоции своей крысы, вместо того чтобы их бесстрастно фиксировать. Но ведь понятно, что если бы

какой-нибудь биолог оказался на это способен, он сразу понял бы неизмеримо больше, чем любой "научный" фиксатор. Только понимание — это огромный и редкий дар, а "записывать объективные данные" может почти каждый. И,о Господи, как же он в душе мучался своей "ненаучностью", своей "инаковостью", своей неспособностью быть уже окончательно "честным немецким ученым"! Он с такой страстью бился последние годы со всякой "безответственной эссеистикой" в науке — именно из-за ее внешнего сходства с его страстью к "самым коротким путям", которые на поверку всегда оказывались самыми длинными — из-за его неуемного чувства целостности, цельности — Целого.

Он всегда был как бы неравноправен со своими коллегами — как неравноправен у постели больного человека влюбленный с врачом. Врач всегда знает о пациенте достаточно (по крайней мере, надеется узнать). Влюбленный, зная неизмеримо больше, знает точно, что никогда не будет знать *достаточно*. Как-то я, в начале второго курса аспирантуры, попала в ЦДЛ вместе с Александром Викторовичем и моим научным руководителем Николаем Константиновичем Геем (они с Александром Викторовичем часто ходили туда вместе выпить кофе между какими-нибудь заседаниями). Разговор шел о моей работе. Я меланхолично сказала, что я в отчаянии, так как каждый день обнаруживается еще груда всего, что надо было бы прочитать. На что Александр Викторович, с той же своей улыбкой-усмешкой: "Таня, да вы только представьте, в каком я-то отчаянии!" Мне стало стыдно, ибо за этими словами стояли такие груды, о самом существовании которых я еще и близко не подозревала. Поэтому он абсолютно никогда не был способен гордиться своим *знанием*. *Знание* немедленно становилось чем-то естественным, а знание о *незнании* росло и росло. Один его институтский друг рассказывал на поминках, как "Саша" однажды предлагал ему что-то сыграть на фортепьяно в четыре руки, объясняя ему (неумеющему), что вот, адажио, оно медленное, ноты звучат долго, давай, легко, у тебя получится. Он как-то подсознательно был убежден — против всякой очевидности — что то, что может он, может всякий. Отсюда его иногда вспыхивавшая научная ревность.

Но он был удивительно почтителен ко всякому чужому знанию. О людях, на любой конъюнктурный (а иногда — и не на конъюнктурный) взгляд не сопоставимых с ним по значению, ни по значительности, он говорил — даже с робким — уважением: "Это замечательный специ-

алист, очень знающий в своей области...",— особенно почитая научность и скрупулезность — видя в них свое же уважение к чужому, прежнему, знанию, к вечной мысли. Чужую безграмотность он воспринимал болезненно, особенно там, где не ожидал ее встретить. Его от нее просто скручивало: как от удара, как от раны.

Это покажется почти невероятным — при его огромной "востребованности" в самые последние годы: он ведь буквально работал все время, писал, читал в тысяче мест — но он очень часто чувствовал себя непонятым и ненужным. Очень от этого страдал. После какого-то доклада: "Таня, ведь всё восприняли абсолютно молча! Ни одной реплики, ни одного вопроса..." "Александр Викторович, а чего же вы хотели?!" Он все знает, что я могу ему сказать, но ему ужасно больно — от непонятости — и одиноко. Поэтому он так трогательно радостно воспринимал любую похвалу, любой отклик, похожий на понимание. В том-то и дело, что в непонимании никого никогда не винил, кроме себя самого — и очень мучался этим.

В отношениях с людьми он был так же страстен, как в отношениях с мыслями. Горячо любил и горячо ненавидел там, где предполагались самые холодные служебные отношения. Риту, ученого секретаря нашего Отдела, любил в Отделе больше всех — и подумать страшно, как же ей от него доставалось! Он был способен на ужасную несправедливость, но на *такое* ужасное раскаяние был способен только он один! Если он в гневе кого-то обижал (никогда не оскорблял!) — даже справедливо, со своей точки зрения, видеть его раскаяние было гораздо ужаснее, чем его гнев. У него не было никакого чувства иерархии в том смысле, что он никого не был способен *почувствовать* ниже себя — неважно, что он об этом думал.

Он мучился от чужой грусти, он переживал — какую-нибудь ничтожную — обиду гораздо глубже и острее обиженного. Однажды, еще в начале моей аспирантуры, в самом начале нашего с ним знакомства, меня попросили передать ему какой-то научный сборник. Просил человек, в высшей степени склонный к "чинопочитанию", подарить мне этот же сборник ему в голову не пришло. Александр Викторович сборник с благодарностью взял, тут же, на следующий день (он вообще очень быстро все прочитывал) спрашивает меня о какой-то статье. Выясняется, что своего экземпляра у меня нет. Он был потрясен. Несколько раз спрашивал, переживая, чувствуя себя почему-то виноватым: "Как же так? Ну как же так?"

Мог поймать после Отдела: "Таня, почему Рита грустная? Таня, почему Ира такая, у нее ничего не случилось?" (Уверена, многих так ловил, спрашивал.) Он был "горячий" человек. С ним многим было тепло, несмотря на внезапные вспышки пламени. *Ему* часто было холодно. В большинстве случаев получалось, что он любил человека гораздо горячее, чем тот мог — способен был — ему отвечать.

Ему было интересно и любо всякое биение живой мысли, особенно он бывал счастлив, столкнувшись с талантливым молодым ученым. Приглашал на Отдел, на Совет (он был сопредседателем Отделения Совета ОЛЯ РАН по теории литературы), рад был "поделиться" со всеми своей находкой. Те молодые, которые попадали в Отдел за последние пять лет, попадали туда лишь благодаря его хлопотам — иногда очень долгим и нервным.

Ему так всегда было все интересно, что он не понимал, как это может быть не интересно другим. Он столько успевал, что не понимал, как кто-то может чего-то просто не успеть. Он очень горевал, когда последний год обезлюдели — по сравнению с прежними годами — заседания Совета. Он хотел соединить мысли и поиски разных людей, не дать каждому замкнуться в своей скорлупе, а многие устали и хотели покоя для раздумий. И вот он сам был и там, и здесь, себя самого кладя в те прорывы, в те пропасти, которые потянулись по единому телу знания. Это была его жертва. Это было его счастье.

Мой последний с ним разговор по телефону — за два дня до смерти — закончился его словами: "Я забыл Вам сказать что-то очень важное. Вспомню, позвоню". Он всем нам еще многое скажет.

22.09.95.